

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА



Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

Рассказы

Annotation

Исходное название – «Не стоит село без праведника»; окончательное – дал А.Т. Твардовский. При публикации рассказа год действия его, 1956, подменялся по требованию редакции годом 1953, то есть дохрущёвским временем. Напечатан в «Новом мире», 1963, № 1. Первым из рассказов А.И. Солженицына подвергся атаке в советской прессе. В частности, автору указывалось, что не использован опыт соседнего зажиточного колхоза, где председателем Герой Социалистического Труда. Критика недоглядела, что он и упоминается в рассказе как уничтожитель леса и спекулянт.

Рассказ полностью автобиографичен и достоверен. Жизнь Матрёны Васильевны Захаровой и смерть её воспроизведены как были. Истинное название деревни – Мильцево (Курловского района Владимирской области).

-
- [Матрёнин двор](#)
-

На сто восемьдесят четвёртом километре от Москвы по ветке, что идёт к Мурому и Казани, ещё с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ошупи. Пассажиры льнули к стёклам, выходили в тамбур: чинят пути, что ли? из графика вышел?

Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались.

Только машинисты знали и помнили, отчего это всё.

Да я.

1

Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад – просто в Россию. Ни в одной точке её никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. Мне просто хотелось в среднюю полосу – без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России – если такая где-то была, жила.

За год до того по сю сторону Уральского хребта я мог наняться разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли. А меня тянуло – учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться, впустую проезжу.

Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестнице Владимирского облоно и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что *кадры* уже не сидели здесь за чёрной кожаной дверью, а за остеклённой перегородкой, как в аптеке. Всё же я подошёл к окошечку робко, поклонился и попросил:

– Скажите, не нужны ли вам математики? Где-нибудь подальше от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда.

Каждую букву в моих документах перещупали, походили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была – все ведь просятся в город, да покрупней. И вдруг-таки дали мне местечко – Высокое Поле. От одного названия веселела душа.

Название не лгало. На взгорке между ложков, а потом других взгорков, цельно-обомкнутое лесом, с прудом и плотинкой, Высокое Поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше – когда ниоткуда не слышно радио и всё в мире молчит.

Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снесь мешками из областного города.

Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом всё ж походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели и отпечатали мне в приказе: «Торфопродукт».

Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!

На станции Торфопродукт, состарившемся временном серо-деревянном бараке, висела строгая надпись: «На поезд садиться только со стороны вокзала!» Гвоздём по доскам было доцарапано: «И без билетов». А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В

Торфопродукт легко было приехать. Но не уехать.

А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. Потом их вырубил – торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свёл под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыв в Одесскую область, на том свой колхоз возвысив, а себе получив Героя Социалистического Труда.

Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался посёлок – однообразные, худо штукатуренные бараки тридцатых годов и, с резьбой по фасаду, с остеклёнными верандами, домики пятидесятых. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящей до потолка, так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими стенами.

Над посёлком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь посёлок проложена была узкоколейка, и паровозики, тоже густо дымящие, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. Без ошибки я мог предположить, что вечером над дверьми клуба будет надрываться радиолы, а по улице пображивать пьяные да подпыривать друг друга ножами.

Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер ночами и только звёздный свод распахивался над головой.

Мне не спалось на станционной скамье, и я чуть свет опять побрёл по посёлку. Теперь я увидел крохотный базарец. По рани единственная женщина стояла там, торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить тут же.

Меня поразила её речь. Она не говорила, а напевала умильно, и слова её были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии:

– Пей, пей с душою желадной. Ты, потай, приезжий?

– А вы откуда? – просветлел я.

И узнал, что не всё вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги – бугор, а за бугром – деревня, и деревня эта – Тальново, испокон она здесь, ещё когда была барыня-«цыганка» и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идёт деревень: Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово – всё поглуше, от железной дороги подале, к озёрам.

Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию.

И я попросил мою новую знакомую отвести меня после базара в Тальново и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом.

Я оказался квартирантом выгодным: сверх платы сулила школа за меня ещё машину торфа на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже не умильные. У самой у неё места не было (они с мужем *воспитывали* её престарелую мать), оттого она повела меня к одним своим родным и ещё к другим. Но и здесь не нашлось комнаты отдельной, везде было тесно и лопотно.

Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне; две-три ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки, и выходили на берег гуси, отряхиваясь.

– Ну, разве что к Матрёне зайдём, – сказала моя проводница, уже уставая от меня. – Только у неё не так уборно, в запусси она живёт, болеет.

Дом Матрёны стоял тут же, неподалеку, с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепой, на два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Дом не низкий – восемнадцать венцов. Однако изгнивала щепы, посерели от старости брёвна сруба и ворота, когда-то могучие, и проредилась их обвершка.

Калитка была на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завёртку – нехитрую затею против скота и чужого человека. Дворик не был крыт, но в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные *мосты*, высоко осенённые крышей. Налево ещё ступеньки вели вверх в *горницу* – отдельный сруб без печи, и ступеньки вниз, в подклеть. А направо шла сама изба, с чердаком и подпольем.

Строено было давно и добротное, на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет шестидесяти.

Когда я вошёл в избу, она лежала на русской печи, тут же, у входа, накрытая неопределённым тёмным тряпьем, таким бесценным в жизни рабочего человека.

Просторная изба, и особенно лучшая приоконная её часть, была уставлена по табуреткам и лавкам – горшками и кадками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет северной стороны. В остатке света, и к тому же за трубой, кругловатое лицо хозяйки показалось мне жёлтым, больным. И по глазам её замутнённым можно было видеть, что болезнь измотала её.

Разговаривая со мной, она так и лежала на печи ничком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости заполучить квартиранта, жаловалась на чёрный недуг, из приступа которого выходила сейчас: недуг налетал на неё не каждый месяц, но, налетев, —

– ...держит два-дни и три-дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею. А избу бы не жалко, живите.

И она перечисляла мне других хозяек, у кого будет мне покойней и угожей, и слала обойти их. Но я уже видел, что жребий мой был – поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в которое совсем нельзя было смотреться, с двумя яркими рублёвыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенными на стене для красоты. Здесь было мне тем хорошо, что по бедности Матрёна не держала радио, а по одиночеству не с кем было ей разговаривать.

И хотя Матрёна Васильевна вынудила меня походить ещё по деревне, и хотя в мой второй приход долго отнекивалась:

– Не умемши, не варёмши – как утрафишь? – но уж встретила меня на ногах, и даже будто удовольствие пробудилось в её глазах оттого, что я вернулся.

Поладили о цене и о торфе, что школа привезёт.

Я только потом узнал, что год за годом, многие годы, ниоткуда не зарабатывала Матрёна Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей не платили. Родные ей помогали мало. А в колхозе она работала не за деньги – за палочки. За палочки трудодней в замусленной книжке учётика.

Так и поселился я у Матрёны Васильевны. Комнаты мы не делили. Её кровать была в дверном углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна и, оттесня от света любимые матрёнины фикусы, ещё у одного окна поставил стол. Электричество же в деревне было – его ещё в двадцатые годы подтянули от Шатуры. В газетах писали тогда – «лампочки Ильича», а мужики, глаза тараща, говорили: «Царь Огонь!»

Может, кому из деревни, кто побогаче, изба Матрёны и не казалась доброжилой, нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша: от дождей она ещё не протекала и ветрами студёными выдувало из неё печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохудившейся стороны.

Кроме Матрёны и меня, жили в избе ещё: кошка, мыши и тараканы.

Кошка была немолода, а главное – колченога. Она из жалости была Матрёной подобрана и прижилась. Хотя она и ходила на четырёх ногах, но сильно прихрамывала: одну ногу она

берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания её о пол не был кошаче-мягок, как у всех, а – сильный одновременный удар трёх ног: туп! – такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, чтоб уберечь четвёртую.

Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась; она как молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, ещё по хорошей жизни, оклеил матрёнину избу рифлёными зеленоватыми обоями, да не просто в слой, а в пять слоёв. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали – и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между брёвнами избы и обойной шкурой мыши и проделали себе ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед их шуршанью, а достать не могла.

Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо. Единственное, что тараканы уважали, это черту перегородки, отделявшей устье русской печи и кухню от чистой избы. В чистую избу они не переползали. Зато в кухне по ночам кишели, и если поздно вечером, зайдя испить воды, я зажигал там лампочку – пол весь, и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и шевелились. Приносил я из химического кабинета буры, и, смешивая с тестом, мы их травили. Тараканов менело, но Матрёна боялась отравить вместе с ними и кошку. Мы прекращали подсыпку яда, и тараканы плодились вновь.

По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом, – редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нём не было ничего злого, в нём не было лжи. Шуршанье их – была их жизнь.

И с грубой плакатной красавицей я свыкся, которая со стены постоянно протягивала мне Белинского, Панфёрова и ещё стопу каких-то книг, но – молчала. Я со всем свыкся, что было в избе Матрёны.

Матрёна вставала в четыре-пять утра. Ходикам матрёниным было двадцать семь лет как куплены в сельпо. Всегда они шли вперёд, и Матрёна не беспокоилась – лишь бы не отставали, чтоб утром не запоздниться. Она включала лампочку за кухонной перегородкой и тихо, вежливо, стараясь не шуметь, топила русскую печь, ходила доить козу (все животные её были – одна эта грязно-белая криворогая коза), по воду ходила и варила в трёх чугунах; один чугунок – мне, один – себе, один – козе. Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе – мелкую, а мне – с куриное яйцо. Крупной же картошки огород её песчаный, с довоенных лет не удобренный и всегда засаживаемый картошкой, картошкой и картошкой, – крупной не давал.

Мне почти не слышались её утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем зимнем свету и потягивался, высовывая голову из-под одеяла и тулупа. Они да ещё лагерная телогрейка на ногах, а снизу мешок, набитый соломой, хранили мне тепло даже в те ночи, когда стужа толкалась с севера в наши хилые оконца. Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил:

– Доброе утро, Матрёна Васильевна!

И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким тёплым мурчанием, как у бабушек в сказках:

– М-м-мм... также и вам!

И немного погодя:

– А завтрак вам приспе-ел.

Что на завтрак, она не объявляла, да это и догадаться было легко: *картось*

необлупленная, или суп *картонный* (так выговаривали все в деревне), или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было купить в Торфопродукте, да и ячневую-то с бою – как самой дешёвой ею откармливали свиней и мешками брали). Не всегда это было посолено, как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налёт на нёбе, дёснах и вызывало изжогу.

Но не Матрёны в том была вина: не было в Торфопродукте и масла, маргарин нарасхват, а свободно только жир комбинированный. Да и русская печь, как я пригляделся, неудобна для стряпни: варка идёт скрыто от стряпухи, жар к чугунку подступает с разных сторон неравномерно. Но потому, должно быть, пришла она к нашим предкам из самого каменного века, что, протопленная раз на досветьи, весь день хранит в себе тёплыми корм и поило для скота, пищу и воду для человека. И спать тепло.

Я покорно съедал всё наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное: волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрёну. В конце концов, она сама же меня предупреждала: «Не уемши, не варёмши – как утрафишь?»

– Спасибо, – вполне искренне говорил я.

– На чём? На своём на добром? – обезоруживала она меня лучезарной улыбкой. И, простодушно глядя блекло-голубыми глазами, спрашивала: – Ну, а к ужоткому что вам приготовить?

К *ужоткому* значило – к вечеру. Ел я дважды в сутки, как на фронте. Что мог я заказать к ужоткому? Всё из того же, картовь или суп *картонный*.

Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования. Мне дороже была эта улыбка её кругловатого лица, которую, заработав наконец на фотоаппарат, я тщетно пытался уловить. Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрёна принимала выражение или натянутое, или повышенно-суровое.

Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу.

В ту осень много было у Матрёны обид. Вышел перед тем новый пенсионный закон, и надоумили её соседки добиваться пенсии. Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть, – и из колхоза её отпустили. Наворочено было много несправедливостей с Матрёной: она была больна, но не считалась инвалидом; она четверть века проработала в колхозе, но потому что не на заводе – не полагалось ей пенсии *за себя*, а добиваться можно было только *за мужа*, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже пятнадцать лет, с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о его *сташе* и сколько он там получал.хлопоты были – добыть эти справки; и чтоб написали всё же, что получал он в месяц хоть рублей триста; и справку заверить, что живёт она одна и никто ей не помогает; и с года она какого; и потом всё это носить в собес; и перенашивать, исправляя, что сделано не так; и ещё носить. И узнавать – дадут ли пенсию.

хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тальнова был в двадцати километрах к востоку, сельский совет – в десяти километрах к западу, а поселковый – к северу, час ходьбы. Из канцелярии в канцелярию и гоняли её два месяца – то за точкой, то за запятой. Каждая проходка – день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет, просто так вот нет, как это бывает в сёлах. Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий день опять иди. А четвёртый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке расписались, бумажки-то все у Матрёны одной пачкой сколоты.

– Притесняют меня, Игнатич, – жаловалась она мне после таких бесплодных проходок. – Иззаботилась я.

Но лоб её недолго оставался омрачённым. Я заметил: у неё было верное средство вернуть себе доброе расположение духа – работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и

копала картовь. Или с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетёным кузовом – по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрёна уже просветлённая, всем довольная, со своей доброй улыбкой.

– Теперича я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать, – говорила она о торфе. – Ну и местечко, любота одна!

– Да Матрёна Васильевна, разве моего торфа не хватит? Машина целая.

– Фу-у! твоего торфу! Ещё столько, да ещё столько – тогда, бывает, хватит. Тут как зима закрутит, да дуель в окна, так не только топишь, сколько выдувает. Летось мы торфу натаскивали сколища! Я ли бы и теперь три машины не натаסקала? Так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают.

Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы – и щемило сердца. Стояли вокруг леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось торфу жителям, а только везли – начальству, да кто при начальстве, да по машине – учителям, врачам, рабочим завода. Топлива не было положено – и спрашивать о нём не полагалось. Председатель колхоза ходил по деревне, смотрел в глаза требовательно, или мутно, или простодушно и о чём угодно говорил, кроме топлива. Потому что сам он запасся. А зимы не ожидалось.

Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по пять, по десять, чтобы смелей. Ходили днём. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или трест затомошился. Это-то время бабы его и брали. Зараз уносили в мешке торфин шесть, если были сыроваты, торфин десять, если сухие. Одного мешка такого, принесенного иногда километра за три (и весил он пуда два), хватало на одну протопку. А дней в зиме двести. А топить надо: утром русскую, вечером «голландку».

– Да чего говорить обапол! – сердилась Матрёна на кого-то невидимого. – Как лошадей не стало, так чего на себе не припрёшь, того и в дому нет. Спина у меня никогда не заживает. Зимой салазки на себе, летом вязанки на себе, ей-богу правда!

Ходили бабы в день – не по разу. В хорошие дни Матрёна приносила по шесть мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала под мостами, и каждый вечер забивала лаз доской.

– Разве уж догадаются, враги, – улыбалась она, вытирая пот со лба, – а то ни в жисть не найдут.

Что было делать тресту? Ему не отпускалось штатов, чтобы расставлять караульщиков по всем болотам. Приходилось, наверно, показав обильную добычу в сводках, затем списывать – на крошку, на дожди. Иногда, порывами, собирали патруль и ловили баб у входа в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда, по доносу, ходили по домам с обыском, составляли протокол на незаконный торф и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить, но зима надвигалась и снова гнала их – с санками по ночам.

Вообще, приглядываясь к Матрёне, я замечал, что, помимо стряпни и хозяйства, на каждый день у неё приходилось и какое-нибудь другое немалое дело; закономерный порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день её будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях («Поточи зубки, Игнатич», – угощала меня), кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна была ещё где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы.

– А почему вы коровы не держите, Матрёна Васильевна?

– Э-эх, Игнатич, – разъясняла Матрёна, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и оборотясь к моему столу. – Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самую с ногами съест. У полотна не скоси – там свои хозяева, и в лесу косить нету – лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят – не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух всё в колхоз, всё в колхоз, а себе уж из-под снега – что за трава?.. По-бывалошному кипели с сеном в межень, с Петрова до Ильина. Считалось, трава – медовая...

Так, одной утельной козе собрать было сена – для Матрёны труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмежкам, по задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжёлой травой, она тащила её домой и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего сена – навильник.

Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрёне, а десять соток так и пустовало за забором. Впрочем, и за пятнадцать соток потягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная.

Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна мешалась.

– Та-ак, – раздельно говорила жена председателя. – Товарищ Григорьева! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз вывозить!

Лицо Матрёны складывалось в извиняющую полуулыбку – как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу.

– Ну что ж, – тянула она. – Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединёна. – И тут же спешно исправлялась: – Кому часу приходить-то?

– И вилы свои бери! – наставляла председательша и уходила, шурша твёрдой юбкой.

– Во как! – пеняла Матрёна вслед. – И вилы свои бери! Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу, кто мне насадит?..

И размышляла потом весь вечер:

– Да что говорить, Игнатич! Ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и ждёшь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да ещё заведутся бабы, счёты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда, бывалоча, *по себе* работали, так никакого звуку не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил.

Всё же поутру она уходила со своими вилами.

Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрёне с вечера и говорила:

– Завтра, Матрёна, придёшь мне пособить. Картошку будем докапывать.

И Матрёна не могла отказать. Она покидала свой черёд дел, шла помогать соседке и, воротясь, ещё говорила без тени зависти:

– Ах, Игнатич, и крупная ж картошка у неё! В охотку копала, уходить с участка не хотелось, ей-богу правда!

Тем более не обходилась без Матрёны ни одна пахота огорода. Тальновские бабы установили доточно, что одной вскопать свой огород лопатою тяжеле и дольше, чем, взяв соху и вшестером впрягшись, вспахать на себе шесть огородов. На то и звали Матрёну в помощь.

– Что ж, платили вы ей? – приходилось мне потом спрашивать.

– Не берёт она денег. Уж поневоле ей вопрягаешь.

Ещё суета большая выпадала Матрёне, когда подходила её очередь кормить козких пастухов: одного – здоровенного, *немоглухого*, и второго – мальчишку с постоянной слюнявой цыгаркой в зубах. Очередь эта была в полтора месяца раз, но вгоняла Матрёну в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась и сахару и масла, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другом, стараясь накормить пастухов получше.

– Бойся портного да пастуха, – объясняла она мне. – По всей деревне тебя ославят, если что им не так.

И в эту жизнь, густую заботами, ещё врывалась временами тяжёлая немочь, Матрёна валилась и сутки-двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти. В такие дни Маша, близкая подруга Матрёны, с самых молодых годков, приходила обихаживать козу да топить печь. Сама Матрёна не пила, не ела и не просила ничего. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было в Тальнове вдиво, как-то неприлично перед соседями – мол, барыня. Вызывали однажды, та приехала злая очень, велела Матрёне, как отлежится, приходиться на медпункт самой. Матрёна ходила против воли, брали анализы, посылали в районную больницу – да так и заглохло.

Дела звали к жизни. Скоро Матрёна начинала вставать, сперва двигалась медленно, а потом опять живо.

– Это ты меня прежде не видал, Игнатич, – оправдывалась она. – Все мешки мои были, по пять пудов тижелью не считала. Свёкор кричал: «Матрёна! Спину сломаешь!» Ко мне дивирь не подходил, чтоб мой конец бревна на передок подсадить. Конь был военный у нас, Волчок, здоровый...

– А почему военный?

– А нашего на войну забрали, этого подраненного – взамен. А он стиховой какой-то попался. Раз с испугу сани понёс в озеро, мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила. Овсяной был конь. У нас мужики любили лошадей кормить. Которые кони овсяные, те и тижели не признают.

Но отнюдь не была Матрёна бесстрашной. Боялась она пожара, боялась *молоньи*, а больше всего почему-то – поезда.

– Как мне в Черусти ехать, с Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят – аж в жар меня бросает, коленки трясутся. Ей-богу правда! – сама удивлялась и пожимала плечами Матрёна.

– Так может потому, что билетов не дают, Матрёна Васильевна?

– В окошечко? Только мягкие суют. А уж поезд – трогацать! Мечемся туда-сюда; да взойдите ж в сознание! Мужики – те по лесенке на крышу полезли. А мы нашли дверь незапертую, впёрлись прям так, без билетов, – а вагоны-то все *простые* идут, все простые, хоть на полке растягивайся. Отчего билетов не давали, паразиты несочувственные, – не знато...

Всё же к той зиме жизнь Матрёны наладилась как никогда. Стали-таки платить ей рублей восемьдесят пенсии. Ещё сто с лишком получала она от школы и от меня.

– Фу-у! Теперь Матрёне и умирать не надо! – уже начинали завидовать некоторые из соседок. – Больше денег ей, старой, и девать некуда.

– А что – пенсия? – возражали другие. – Государство – оно минутное. Сегодня, вишь, дало, а завтра отымет.

Заказала себе Матрёна скатать новые валенки. Купила новую телогрейку. И справила

пальто из ношенной железнодорожной шинели, которую подарил ей машинист из Черустей, муж её бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной-горбун подложил под сукно ваты, и такое славное пальто получилось, какого за шесть десятков лет Матрёна не нашивала.

И в середине зимы зашила Матрёна в подкладку этого пальто двести рублей – себе на похороны. Повеселела:

– Маненько и я спокой увидала, Игнатич.

Прошёл декабрь, прошёл январь – за два месяца не посетила её болезнь. Чаще Матрёна по вечерам стала ходить к Маше посидеть, семечки пощёлкать. К себе она гостей по вечерам не звала, уважая мои занятия. Только на Крещение, воротясь из школы, я застал в избе пляску и познакомлен был с тремя матрёнинными родными сёстрами, звавшими Матрёну как старшую – лёлька или нянька. До этого дня мало было в нашей избе слышно о сёстрах – то ли опасались они, что Матрёна будет просить у них помощи?

Одно только событие или предзнаменование омрачило Матрёне этот праздник: ходила она за пять вёрст в церковь на водосвятие, поставила свой котелок меж других, а когда водосвятие кончилось и бросились бабы, толкаясь, разбирать – Матрёна не поспела среди первых, а в конце – не оказалось её котелка. И взамен котелка никакой другой посуды тоже оставлено не было. Исчез котелок, как дух нечистый его унёс.

– Бабоньки! – ходила Матрёна среди молящихся. – Не прихватил ли кто неуладкой чужую воду освящённую? в котелке?

Не признался никто. Бывает, мальчишки созоровали, были там и мальчишки. Вернулась Матрёна печальная. Всегда у неё бывала святая вода, а на этот год не стало.

Не сказать, однако, чтобы Матрёна верила как-то истово. Даже скорей была она язычница, брали в ней верх суеверия: что на Ивана Постного в огород зайти нельзя – на будущий год урожая не будет; что если мятель крутит – значит, кто-то где-то удавился, а дверью ногу прищемишь – быть гостю. Сколько жил я у неё – никогда не видал её молящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась. А дело всякое начинала «с Богом!» и мне всякий раз «с Богом!» говорила, когда я шёл в школу. Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь меня или боясь меня притеснить. Был святой угол в чистой избе, и иконка Николая Угодника в кухоньке. Забудни стояли они тёмные, а во время всенощной и с утра по праздникам зажигала Матрёна лампадку.

Только грехов у неё было меньше, чем у её колченогой кошки. Та – мышей душила...

Немного выдравшись из колотной своей житёнки, стала Матрёна повнимательней слушать и моё радио (я не преминул поставить себе *разведку* – так Матрёна называла розетку. Мой приёмничек уже не был для меня бич, потому что я своей рукой мог его выключить в любую минуту; но, действительно, выходил он для меня из глухой избы – разведкой). В тот год повелось по две, по три иностранных делегации в неделю принимать, провожать и возить по многим городам, собирая митинги. И что ни день, известия полны были важными сообщениями о банкетах, обедах и завтраках.

Матрёна хмурилась, неодобрительно вздыхала:

– Ездят-ездят, чего-нибудь наездят.

Услышав, что машины изобретены новые, ворчала Матрёна из кухни:

– Всё новые, новые, на старых работать не хотят, куды старые складывать будем?

Ещё в тот год обещали искусственные спутники Земли. Матрёна качала головой с печи:

– Ой-ой-ойиньки, чего-нибудь изменят, зиму или лето.

Исполнял Шаляпин русские песни. Матрёна стояла-стояла, слушала и приговорила решительно:

– Чудно поют, не по-нашему.

– Да что вы, Матрёна Васильевна, да прислушайтесь!

Ещё послушала. Сжала губы:

– Не. Не так. Ладу не нашего. И голосом балует.

Зато и вознаградила меня Матрёна. Передавали как-то концерт из романсов Глинки. И вдруг после пятка камерных романсов Матрёна, держась за фартук, вышла из-за перегородки растепленная, с пеленой слезы в неярких своих глазах:

– А вот это – по-нашему... – прошептала она.

2

Так привыкли Матрёна ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. Не мешала она моим долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство или до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу: был ли я когда женат? Все тальновские бабы приставали к ней – узнать обо мне. Она им отвечала:

– Вам нужно – вы и спрашивайте. Знаю одно – *дальний* он.

И когда нескоре я сам сказал ей, что много провёл в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше.

А я тоже видел Матрёну сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бережил её прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать.

Знал я, что замуж Матрёна вышла ещё до революции, и сразу в эту избу, где мы жили теперь с ней, и сразу к *печке* (то есть не было в живых ни свекрови, ни старшей золовки незамужней, и с первого послебрачного утра Матрёна взялась за ухват). Знал, что детей у неё было шестеро и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира. А муж Матрёны не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тела не нашли. За одиннадцать послевоенных лет решила и Матрёна сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь он жив – так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И деревня Тальново, и язык русский изглаживаются из памяти его...

Раз, придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий чёрный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрёна выставила ему на середину комнаты, к печке-«голландке». Всё лицо его облегал густые чёрные волосы, почти не тронутые сединой: с чёрной окладистой бородой сливались усы густые, чёрные, так что рот был виден едва; и непрерывные бакены чёрные, едва выказывая уши, поднимались к чёрным космам, свисавшим с темени; и ещё широкие чёрные брови мостами были брошены друг другу навстречу. И только лоб уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всём облике старика показалось мне многознание и достоинство. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же отвесно уперев в пол, – сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матрёной, возившейся за перегородкой.

Когда я пришёл, он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно:

– Батюшка!.. Вижу вас плохо. Сын мой учится у вас. Григорьев Антошка...

Дальше мог бы он и не говорить... При всём моём порыве помочь этому почтенному старику, заранее знал я и отвергал всё то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорьев Антошка был круглый румяный малец из 8-го «г», выглядевший как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдохнуть, за партой сидел и улыбался лениво. Уж тем более он

никогда не готовил уроков дома. Но, главное, борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славилась школы нашего района, нашей области и соседних областей, – из году в год его переводили, и он ясно усвоил, что, как бы учителя ни грозились, всё равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в 8-м классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он был в цепкой хватке моих двоек – и то же ожидало его в третьей четверти.

Но этому полуслепому старику, годному Антошке не в отцы, а в деда, и пришедшему ко мне на униженный поклон, – как было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала, дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс, и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь свой труд и звание своё?

И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень, и он в школе и дома лжёт, надо дневник проверять у него почаще и круто братья с двух сторон.

– Да уж куда крутей, батюшка, – заверил меня гость. – Бью его теперь, что неделя. А рука тяжёлая у меня.

В разговоре я вспомнил, что уже один раз и Матрёна сама почему-то ходатайствовала за Антошку Григорьева, но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрёна и сейчас стала в дверях кухоньки бессловесной просительницей. И когда Фаддей Миронович ушёл от меня с тем, что будет заходить-узнавать, я спросил:

– Не пойму, Матрёна Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?

– Дивиря моего сын, – ответила Матрёна суховато и ушла доить козу.

Разочтя, я понял, что чёрный настойчивый этот старик – родной брат мужа её, без вести пропавшего.

И долгий вечер прошёл – Матрёна не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал своё в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков, – Матрёна вдруг из тёмного своего угла сказала:

– Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла.

Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал её, – но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас ещё тот старик помогался её.

Видно, весь вечер Матрёна только об том и думала.

Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся – и в первый раз совсем по-новому увидел Матрёну.

Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленной фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради, – а по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрёна. И щёки её померещились мне не жёлтыми, как всегда, а тоже с розовинкой.

– Он за меня первый сватался... раньше Ефима... Он был брат – старший... Мне было девятнадцать, Фаддею – двадцать три... Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом. Ихним отцом строенный.

Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зелёную шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, ещё не потемневшими тогда, стругаными брёвнами и весёлым смолистым запахом.

– И вы его...? И что же?..

– В то лето... ходили мы с ним в рощу сидеть, – прошептала она. – Тут роща была, где теперь конный двор, вырубил её... Без малого не вышла, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея на войну.

Она уронила это – и вспыхнул передо мной голубой, белый и жёлтый июль четырнадцатого года: ещё мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым

жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косою через спину; её, румяную, обнявшую сноп. И – песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да и не споёшь при механизмах.

– Пошёл он на войну – пропал... Три года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки...

Обвязанное старческим слинявшим платочком смотрело на меня в не прямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрёны – как будто освобождённое от морщин, от будничного небрежного наряда – испуганное, девичье, перед страшным выбором.

Да. Да... Понимаю... Облетали листья, падал снег – и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь свет перевернулся.

– Мать у них умерла – и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят у нас: умная выходит после Покрова, а дура – после Петрова. Рук у них не хватало. Пошла я... На Петров день повенчались, а к Миколке зимнему – вернулся... Фаддей... из венгерского плена.

Матрёна закрыла глаза.

Я молчал.

Она обернулась к двери, как к живой:

– Стал на пороге. Я как закричу! В колена б ему бросилась!.. Нельзя... Ну, говорит, если б то не брат мой родной – я бы вас порубал обоих!

Я вздрогнул. От её надрыва или страха я живо представил, как он стоит там, чёрный, в тёмных дверях, и топором замахнулся на Матрёну.

Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала:

– Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! Сколько невест было на деревне – не женился. Сказал: буду имячко твоё искать, вторую Матрёну. И привёл-таки себе из Липовки Матрёну, срубили избу отдельную, где и сейчас живут, ты каждый день мимо их в школу ходишь.

Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну не раз. Не любил я её; всегда приходила она к моей Матрёне жаловаться, что муж её бьёт, и скарעד муж, жилы из неё вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у неё был на слезе.

Но выходило, что не о чем моей Матрёне жалеть – так бил Фаддей свою Матрёну всю жизнь, и по сей день, и так зажал весь дом.

– Меня сам ни разику не бил, – рассказывала она о Ефиме. – По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня – ни разику... То есть был-таки раз – я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Вскочила я от стола: «Захлентуься бы вам, подавиться, трутни!» И в лес ушла. Больше не трогал.

Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть: родила ему вторая Матрёна тоже шестерых детей (среди них и Антошка мой, самый младший, поскрёбыш) – и выжили все, а у Матрёны с Ефимом дети не стояли: до трёх месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый.

– Одна дочка только родилась, помыли её живую – тут она и померла. Так мёртвую уж обмывать не пришлось... Как свадьба моя была в Петров день, так и шестого ребёнка, Александра, в Петров день схоронила.

И решила вся деревня, что в Матрёне – порча.

– *Порция* во мне! – убеждённо кивала и сейчас Матрёна. – Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться, она меня на кашель наводила – ждала, что *порция* из меня лягушкой выбросится. Ну, не выбросилась...

И шли года, как плыла вода... В сорок первом не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во

вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба – и старела в ней беспритульная Матрёна.

И попросила она у той второй, забитой, Матрёны – чрева её урывочек (или кровиночку Фаддея?) – младшую их девочку Киру.

Десять лет она воспитывала её здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась: иногда сахарку, когда поросёнка зарежут – сальца.

Страдая от недугов и чая недалёкую смерть, тогда же объявила Матрёна свою волю: отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избой, после смерти её отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Ещё три сестры её метили получить эту избу.

Так в тот вечер открылась мне Матрёна сполна. И, как это бывает, связь и смысл её жизни, едва став мне видимыми, – в тех же днях пришли и в движение. Из Черустей приехала Кира, забеспокоился старик Фаддей: в Черустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне матрёнина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж её, как за них старый Фаддей загорелся захватить этот участок в Черустях.

И вот он зачастил к нам, пришёл раз, ещё раз, наставительно говорил с Матрёной и требовал, чтоб она отдала горницу теперь же, при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленный больною поясницей, но всё ещё статный, старше шестидесяти сохранивший сочную, молодую черноту в волосах, он наседали с горячностью.

Не спала Матрёна две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрёна никогда. И горница эта всё равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила сорок лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать брёвна дома. А для Матрёны было это – конец её жизни всей.

Но те, кто настаивал, знали, что её дом можно сломать и при жизни.

И Фаддей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в пять топоров, завизжали и закричали отрываемыми досками. Глаза самого Фаддея деловито поблескивали. Несмотря что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила и живо суеился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишкою сам и строил когда-то с отцом; эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал её по рёбрышкам, чтоб увезти с чужого двора.

Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекали временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и всё показывало, что ломатели – не строители и не предполагают, чтобы Матрёне ещё долго пришлось здесь жить.

А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон: водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахара, Матрёна Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутылки самогонщику.

Вынесены и соштабелёваны были брёвна перед воротами, зять-машинист уехал в Черусти за трактором.

Но в тот же день началась мятель – дуэль, по-матрёнину. Она кутила и кружила двое суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом, чуть дорогу умяли, прошёл грузовик-другой – внезапно потеплело, в один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали

ручьи, прорывшиеся в снегу, и нога в сапоге увязала по всё голенище.

Две недели не давалась трактору разломанная горница! Эти две недели Матрёна ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли три сестры её, все дружно обругали её дурой за то, что горницу отдала, сказали, что видеть её больше не хотят, – и ушли.

И в те же дни кошка колченогая сбрела со двора – и пропала. Одно к одному. Ещё и это пришибло Матрёну.

Наконец стаявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день, и повеселело на душе. Матрёне что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за старинным ткацким станом (такие ещё стояли в двух избах, на них ткали грубые половики), – и усмехнулась застенчиво:

– Да уж погоди, Игнатич, пару дней, вот горницу, бывает, отправлю – сложу свой стан, ведь цел у меня, – и снимешь тогда. Ей-богу правда!

Видно, привлекало её изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко сеней, теперь укороченных, – и грел этот отсвет лицо Матрёны. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей.

Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены брёвнами, но многое ещё не поместилось – и семья деда Фаддея, и приглашенные помогать кончали сбивать ещё одни сани, самодельные. Все работали, как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили.

Спор шёл о том, как везти сани – порознь или вместе. Один сын Фаддея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он *водитель* и повезёт сани вместе. Расчёт его был ясен: по уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь – по двадцать пять километров да один раз назад – он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увёл его тайком для *левой*.

Старику Фаддею не терпелось сегодня же увезти всю горницу – и он кивнул своим уступить. Вторые, наспех сколоченные сани подцепили за крепкими первыми.

Матрёна бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать брёвна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измазала рукава о льдистую грязь брёвен, – и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжёлые годы.

Так я в первый раз рассердился на Матрёну Васильевну.

– Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! – озадачилась она. – Ведь я её бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатич. – И сняла, повесила сушиться.

Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до десяти мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухню. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутыл, голоса становились всё громче, похвальба – зазорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжёлый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго – темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный, с жестоким лицом вышел тракторист. Сопровождать сани до Черустей шли зять-машинист, хромой сын Фаддея и ещё племянник один. Остальные расходились по домам. Фаддей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закурить и вдруг заговорил, как любит он тётку Матрёну, и что женился недавно, и вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушёл. За окном зарычал трактор.

Последней торопливо выскочила из-за перегородки Матрёна. Она тревожно качала головой вслед ушедшим. Надела телогрейку, накинула платок. В дверях сказала мне:

– И что было двух не срядить? Один бы трактор занемог – другой подтянул. А теперь чего будет – Богу весть!..

И убежала за всеми.

После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении.

Прошёл час, другой. И третий. Матрёна не возвращалась, но я не удивлялся: проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше.

И ещё прошёл час. И ещё. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, отчего тишина, – оттого, оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Приёмник мой молчал, и я заметил, что очень уж, как никогда, развозились мыши: всё нахальней, всё шумней они бегали под обоями, скребли и попискивали.

Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрёна не возвращалась.

Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Ещё были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завёртку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях.

При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели – железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил:

– Где хозяйка?

– Не знаю.

– А трактор с санями из этого двора уезжал?

– Из этого.

– Они пили тут перед отъездом?

Все четверо щурились, оглядывались в полутьме при настольной лампе. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать.

– Да что случилось?

– Отвечайте, что вас спрашивают!

– Но...

– Поехали пьяные?

– Они пили тут?

Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно: что за самогонщину Матрёне могут дать срок.

Я отступил к кухонной дверке и так перегородил её собою.

– Право, не заметил. Не видно было.

(Мне и действительно не видно было, только слышно.)

И как бы растерянным жестом я провёл рукой, показывая обстановку избы: мирный настольный свет над книгами и тетрадами; толпу испуганных фикусов; суровую койку отшельника. Никаких следов разгула. А за часы-то, часы, самогонный запах подраивался.

Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было. И повернули к выходу, между собой говоря, что, значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, чтобыла. Я провожал их и допытывался, что же случилось. И только в калитке

мне буркнул один:

– Разворотило их всех. Не соберёшь.

А другой добавил:

– Да это что! Двадцать первый скорый чуть с рельс не сошёл, вот было бы.

И они быстро ушли.

Кого – их? Кого – всех? Матрёна-то где?..

Я вернулся в избу, отвёл полог и прошёл в кухню. Тут самогонный смрад ещё сохранялся, ударил в меня. Это было застывшее побоище – сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежачих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селёдки, лука и раскромсанного сала.

Всё было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полю битвы.

Я кинулся всё убирать. Я полоскал бутылки, убирал еду, разносил стулья, а остаток самогона спрятал в тёмное подполье подальше.

И лишь когда я всё это сделал, я встал пнём посреди пустой избы: что-то сказано было о двадцать первом скором. К чему?.. Может, надо было всё это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая – ничего не объяснить нечиновному человеку?

И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты:

– Матрёна Васильевна?

В избу, пошатываясь, вошла её подруга Маша:

– Матрёна-то... Матрёна-то наша, Игнатич...

Я усадил её, и, мешая со слезами, она рассказала.

На переезде – горка, въезд крутой. Шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали – Фаддей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые – за вторыми вернулись, трос ладили – тракторист и сын Фаддея хромой, и туда же, меж трактором и санями, понесло и Матрёну. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то её чуть в озеро не сшиб, под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? – отдала горницу, и весь её долг, рассчиталась... Машинист всё смотрел, чтобы с Черустей поезд не нагрязнул, его б фонари далеко видать, а с другой стороны, от станции нашей, шли два паровоза сцепленных – без огней и задом. Почему без огней – неведомо, а когда паровоз задом идёт – машинисту с тендера сыплет в глаза пылью угольной, смотреть плохо. Налетели – и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбили, и паровоза оба набок.

– Да как же они не слышали, что паровозы подходят?

– Да трактор-то заведенный орёт.

– А с трупами что?

– Не пускают. Оцепили.

– А что я про скорый слышал... будто скорый?..

– А скорый десятичасовой – нашу станцию с ходу, и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули – машинисты два уцелели, прыгнули и побежали назад, и руками махают, на рельсы ставши, – и успели поезд остановить... Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был. А то ведь затягают свидетелем!.. Незнайка на печи лежит, а знайку на верёвочке ведут... А муж киркин – ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тётя погибла и брат. Сейчас пошёл сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрёна-Матрёнушка!..

Нет Матрёны. Убит родной человек. И в день последний я укорил её за телогрейку.

Разрисованная красно-жёлтая баба с книжного плаката радостно улыбалась.

Тётя Маша ещё посидела, поплакала. И уже встала, чтоб идти. И вдруг спросила:
– Игнатич! Ты помнишь... вязаночка серая была у Матрёны... Она ведь её после смерти прочила Таньке моей, верно?

И с надеждой смотрела на меня в полутьме – неужели я забыл?

Но я помнил:

– Прочила, верно.

– Так слушай, может, разреши я её заберу сейчас? Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить.

И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня – её полувековая подруга, единственная, кто искренно любил Матрёну в этой деревне...

Наверно, так надо было.

– Конечно... Берите... – подтвердил я.

Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла...

Мышами овладело какое-то безумие, они ходили по стенам ходенём, и почти зримыми волнами перекатывались зелёные обои над мышинными спинами.

Идти мне было некуда. Ещё придут сами ко мне, допрашивать. Утром ждала меня школа. Час ночи был третий. И выход был: запереться и лечь спать.

Запереться, потому что Матрёна не придёт.

Я лёг, оставив свет. Мыши пищали, стонали почти, и всё бегали, бегали. Уставшей бессвязной головой нельзя было отделаться от невольного трепета – как будто Матрёна невидимо металась и прощалась тут, с избой своей.

И вдруг в притёмке у входных дверей, на пороге, я вообразил себе чёрного молодого Фаддея с занесенным топором:

«Если б то не брат мой родной – порубал бы я вас обоих!»

Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, – а ударила-таки...

3

На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком – всё, что осталось от Матрёны. Скинули мешок, чтоб обмывать. Всё было месиво – ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина перекрестилась и сказала:

– Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться...

И вот всю толпу фикусов, которых Матрёна так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить фикусы на пол (не задохнулись бы от дыму), – фикусы вынесли из избы. Чисто вымели полы. Тусклое матрёнино зеркало повесили широким полотенцем старой домашней вытоки. Сняли со стены праздные плакаты. Сдвинули мой стол. И к окнам, под образа, поставили на табуретках гроб, сколоченный без затей.

А в гробу лежала Матрёна. Чистой простыней было покрыто её отсутствующее изуродованное тело, и голова охвачена белым платком, – а лицо осталось целёхонькое, спокойное, больше живое, чем мёртвое.

Деревенские приходили постоять-посмотреть. Женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мёртвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, – все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча навтыжку, сняв шапки.

Самый же плач доставалось вести родственникам. В плаче заметил я холодно-продуманный, искони-заведенный порядок. Те, кто подале, подходили к гробу ненадолго и у

самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойнице роднее, начинали плач ещё с порога, а достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей. Мелодия была самодеятельная у каждой плакальщицы. И свои собственные излагались мысли и чувства.

Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрёны, захватили избу, козу и печь, заперли сундук её на замок, из подкладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрёне близкие. И над гробом плакали так:

– Ах, нянька-нянька! Ах, лёлька-лёлька! И ты ж наша единственная! И жила бы ты тихо-мирно! И мы бы тебя всегда приласкали! А погубила тебя твоя горница! А доконала тебя, закаятая! И зачем ты её ломала? И зачем ты нас не послушала?

Так плачи сестёр были обвинительные плачи против мужниной родни: не надо было понуждать Матрёну горницу ломать. (А подспудный смысл был: горницу-ту вы взять-взяли, избы же самой мы вам не дадим!)

Мужнина родня – матрёнины золовки, сёстры Ефима и Фаддея, и ещё племянницы разные приходили и плакали так:

– Ах, тётанька-тётанька! И как же ты себя не берегла! И, наверно, теперь *они* на нас обиделись! И родимая ж ты наша, и вина вся твоя! И горница тут ни при чём. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал! И как ты умерла – не думала! И что же ты нас не слушалась?..

(И изо всех этих причитаний выпирал ответ: в смерти её мы не виноваты, а насчёт избы ещё поговорим!)

Но широколицая грубая «вторая» Матрёна – та подставная Матрёна, которую взял когда-то Фаддей по одному лишь имячку, – сбивалась с этой политики и простовато вопила, надрываясь над гробом:

– Да ты ж моя сестричечка! Да неужели ж ты на меня обидишься? Ох-ма!.. Да бывалоча мы всё с тобой говорили и говорили! И прости ты меня, горемычную! Ох-ма!.. И ушла ты к своей матушке, а, наверно, ты за мной заедешь! Ох-ма-а-а!..

На этом «ох-ма-а-а» она словно выпускала весь дух свой – и билась, билась грудью о стенку гроба. И когда плач её переходил обрядные нормы, женщины, как бы признавая, что плач вполне удался, все дружно говорили:

– Отстань! Отстань!

Матрёна отставала, но потом приходила вновь и рыдала ещё неистовее. Вышла тогда из угла старуха древняя и, положив Матрёне руку на плечо, сказала строго:

– Две загадки в мире есть: как родился – не помню, как умру – не знаю.

И смолкла Матрёна тотчас, и все смолкли до полной тишины.

Но и сама эта старуха, намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрёне чужая вовсе, погодя некоторое время тоже плакала:

– Ох ты, моя болезная! Ох ты, моя Васильевна! Ох, *надоело мне вас провожать!*

И совсем уже не обрядно – простым рыданием нашего века, не бедного ими, рыдала несчастная матрёнина приёмная дочь – та Кира из Черустей, для которой ломали и везли эту горницу. Её завитые локончики жалко растрепались. Красны, как кровью залиты, были глаза. Она не замечала, как сбивается на морозе её платок, или надевала пальто мимо рукава. Она невменяемая ходила от гроба приёмной матери в одном доме к гробу брата в другом, – и ещё опасались за разум её, потому что должны были мужа судить.

Выступало так, что муж её был виновен вдвойне: он не только вёз горницу, но был железнодорожный машинист, хорошо знал правила неохраемых переездов – и должен был сходить на станцию, предупредить о тракторе. В ту ночь в уральском скором тысяча жизней

людей, мирно спавших на первых и вторых полках при полусвете поездных ламп, должна была оборваться. Из-за жадности нескольких людей: захватить участок земли или не делать второго рейса трактором.

Из-за горницы, на которую легло проклятие с тех пор, как руки Фаддея ухватились её ломать.

Впрочем, тракторист уже ушёл от людского суда. А управление дороги само было виновно и в том, что оживлённый переезд не охранялся, и в том, что паровозная сплотка шла без фонарей. Потому-то они сперва всё старались свалить на пьянку, а теперь замять и самый суд.

Рельсы и полотно так искорёжило, что три дня, пока гробы стояли в домах, поезда не шли – их заворачивали другою веткой. Всю пятницу, субботу и воскресенье – от конца следствия и до похорон – на переезде днём и ночью шёл ремонт пути. Ремонтники мёрзли и для обогрева, а ночью и для света раскладывали костры из даровых досок и брёвен со вторых саней, рассыпанных близ переезда.

А первые сани, нагруженные, целые, так и стояли за переездом невдали.

И именно это – что одни сани дразнили, ждали с готовым тросом, а вторые ещё можно было выхватывать из огня – именно это терзало душу чернобородого Фаддея всю пятницу и всю субботу. Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его лежал убитый им сын, на той же улице – убитая им женщина, которую он любил когда-то, – Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачён тяжёлой думой, но дума эта была – спасти брёвна горницы от огня и от козней матрёниных сестёр.

Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один.

Что добром нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается перед людьми постыдно и глупо.

Фаддей, не присаживаясь, метался то на посёлок, то на станцию, от начальства к начальству, и с неразгибной спиной, опираясь на посох, просил каждого снизойти к его старости и дать разрешение вернуть горницу.

И кто-то дал такое разрешение. И Фаддей собрал своих уцелевших сыновей, зятей и племянников, и достал лошадей в колхозе – и с того бока развороченного переезда, кружным путём через три деревни, обвозил остатки горницы к себе во двор. Он кончил это в ночь с субботы на воскресенье.

А в воскресенье днём – хоронили. Два гроба сошлись в середине деревни, родственники поспорили, какой гроб вперёд. Потом поставили их на одни розвальни рядышком, тётю и племянника, и по февральскому вновь обсыревшему насту под пасмурным небом повезли покойников на церковное кладбище за две деревни от нас. Погода была ветреная, неприятная, и поп с дьяконом ждали в церкви, не вышли в Тальново навстречу.

До околицы народ шёл медленно и пел хором. Потом – отстал.

Ещё под воскресенье не стихала бабья суетня в нашей избе: старушка у гроба мурлыкала псалтырь, матрёнины сёстры сновали у русской печи с ухватом, из чела печи пышело жаром от раскалённых торфин – от тех, которые носила Матрёна в мешке с дальнего болота. Из плохой муки пекли невкусные пирожки.

В воскресенье, когда вернулись с похорон, а было уж то к вечеру, собрались на поминки. Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб. Сперва стали все вокруг стола, и старик, золовкин муж, прочёл «Отче наш». Потом налили каждому на самое дно миски – медовой сыты. Её, на помин души, мы выхлебали ложками, безо всего.

Потом ели что-то и пили водку, и разговоры становились оживлённее. Перед киселём встали все и пели «Вечную память» (так и объяснили мне, что поют её – перед киселём обязательно). Опять пили. И говорили ещё громче, совсем уже не о Матрёне. Золовкин муж расхвастался:

– А заметили вы, православные, что отпевали сегодня медленно? Это потому, что отец Михаил меня заметил. Знает, что я службу знаю. А иначе б – со святыми помоги, вокруг ноги – и всё.

Наконец ужин кончился. Опять все поднялись. Спели «Достойно есть». И опять, с тройным повтором: вечная память! вечная память! вечная память! Но голоса были хриплые, розные, лица пьяные, и никто в эту вечную память уже не вкладывал чувства.

Потом основные гости разошлись, остались самые близкие, вытянули папиросы, закурили, раздались шутки, смех. Коснулось пропавшего без вести мужа Матрёны, и золовкин муж, бья себя в грудь, доказывал мне и сапожнику, мужу одной из матрёных сестёр:

– Умер Ефим, умер! Как бы это он мог не вернуться? Да если б я знал, что меня на родине даже повесят, – всё равно б я вернулся!

Сапожник согласно кивал ему. Он был дезертир и вовсе не расставался с родиной: всю войну перепрыгнул у матери в подполье.

Высоко на печи сидела оставшаяся ночевать та строгая молчаливая старуха, древнее всех древних. Она сверху смотрела на него, осуждающе на неприлично оживлённую пятидесяти- и шестидесятилетнюю молодёжь.

И только несчастная приёмная дочь, выросшая в этих стенах, ушла за перегородку и там плакала.

Фаддей не пришёл на поминки Матрёны – потому ли, что поминал сына. Но в ближайшие дни он два раза враждебно приходил в эту избу на переговоры с матрёными сёстрами и с сапожником-дезертиром.

Спор шёл об избе: кому она – сестре или приёмной дочери. Уж дело упиралось писать в суд, но примирились, рассудя, что суд отдаст избу не тем и не другим, а сельсовету. Сделка состоялась. Козу забрала одна сестра, избу – сапожник с женою, а в зачёт фаддеевой доли, что он «здесь каждое брёвнышко своими руками перенячил», пошла уже свезенная горница, и ещё уступили ему сарай, где жила коза, и весь внутренний забор, между двором и огородом.

И опять, преодолевая немощь и ломоту, оживился и помолодел ненасытный старик. Опять он собрал уцелевших сыновей и зятей, они разбирали сарай и забор, и он сам возил брёвна на саночках, на саночках, под конец уже только с Антошкой своим из 8-го «г», который здесь не ленился.

Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из её золовок, неподалеку. Эта золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне и как-то с новой стороны осветила мне умершую.

– Ефим её не любил. Говорил: люблю одеваться *культурно*, а она – кое-как, всё по-деревенски. А одново мы с ним в город ездили, на заработки, так он себе там сударку завёл, к Матрёне и возвращаться не хотел.

Все отзывы её о Матрёне были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрёну выпал – некого было дозвать огород вспахать на себе сохой).

И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением.

И только тут – из этих неодобрительных отзывов золовки – выплыл передо мною образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок.

В самом деле! – ведь поросёнок-то при каждой избе! А у неё не было. Что может быть легче – выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него – и потом зарезать и иметь сало.

А она не имела...

Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни.

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев.

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сёстрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, – она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша.

1959